

У меня
гитара есть —
расступитесь струны!
Век свободы не видать
из-за злой фортуны!
Перережьте горло мне,
перережьте вены,
Только не порвите
серебряные струны!

В. Высоцкий

Взг Москва - 1995 - 29 июня - 4.5

«К нам приехал наш любимый...»

Борис Николаевич Полевой при каждом подходящем случае настоятельно внушал мне, не поучая, а делая собственным опытом:

— Записывайте, старик, не ленись. Нет, не в дневник. Дневник-то для барышень. Записывайте в блокнот. Память — штука хорошая, но, увы, недостаточно надежная. Что записывать? Все! Вот сейчас вернетесь к себе и запишите, какая сегодня погода. Вы зря улыбаетесь, дорогой Алексей Степанович, со временем, может, именно эта запись окажется для вас весьма ценным фактом и вам не придется врать и выдумывать. По себе знаю. Многие мои книги родились из блокнотов. В общем, записывайте все, даже ничтожные мелочи. Время отсеет лишнее, поверьте старому репортеру...

Я поверил ему в этом, как верил во всем. И с тех пор исправно или почти исправно марал блокноты, записные книжки, тетрадки, бьюары и прочие канцбумпринадлежности, заноса на их страницы встречи, истории, эпизоды, случаи, события, данные о погоде, стоимость водки в ЦДЛ на определенную дату, цвет глаз своих собеседников, их манеру говорить...

За четверть века набралась целая гора всевозможных записок. Перелистал их — среди вороха уже отживших и умерших подробностей, примет минувших дней сохранилось удивительно много живого, значимого, интересного. А какие имена оказались на этих страницах!

Разбирая записи, как всегда вспомнил о «Вечерней Москве»: писание для нее стало в последние годы потребностью. Отобрал два десятка историй, в которых запечатлелось, откликнулось время, представленное такими славными людьми, как Рихтер, Утесов, Гейченко, Шкловский, Борис Андреев, Пастернак, Высоцкий, Ботвинник, Волошин, Нейгауз, где встречаются, пусть и нечасто, имена ушедших в прошлое, но отнюдь не бесследно, наших вождей — Хрущева, Брежнева, Косыгина... Вот так и появилась рубрика «Истории из моего блокнота», которую по праву следовало бы посвятить Борису Полевому. Но лучше я расскажу вам забавную историю из его жизни. И, непременно, из жизни Ираклия Андроникова, ибо это именно он учил меня просто и естественно, немногословно и заинтересованно рассказывать о том, что видел, что слышал, что поразовало, взволновало, родило желание поделиться известным с другими.

Тут не будет сложных сюжетов, долгих повествований, хронологии и субординаций: я выбрал для разговора с вами то, что попало под руку в этой горе блокнотов и что показалось мне интересным не только для меня.

А теперь — история первая.



Владимир Высоцкий и Марина Влади.

На первой странице потрепанного блокнота короткая запись: «Зина. «Ромэн». Высоцкий».

Дальше — густо исписанные листки. Но даже если бы их и не было, мне хватило бы одной этой строчки, чтобы высветить тот удивительный, навсегда оставшийся в памяти и в сердце вечер, когда я впервые в жизни — и единственный только раз — увидел и услышал Владимира Высоцкого. Не по «ящику», не с экрана, не со сцены, а сидя рядом с ним так близко, что видел, как набухает его крепкая шея, когда берет он высокие ноты, и катятся по его лбу ртутно-тяжелые горошины пота и он стряхивает их привычным кивком, не отнимая рук от гитары.

Я видел его полузакрытые глаза — яростные и печальные, как и то, о чем пел он тогда. И я понял в тот вечер, что такое Высоцкий.

Той давней уже зимой одной из примет и премьер театральной Москвы были артистические посиделки в «Ромэне». Их устраивали после спектаклей молодые артисты с благословения и при самом деятельном участии Николая Сли-

ченко. Я попал на премьеру. Боже, что творилось в просторном фойе, превращенном в цыганский табор! У шатра с кибиткой кочевой озорно, отчаянно пели и плясали, выделывая немислимые па, очаровательные юные Земфиры и Мариулы. Сколько огня было в их очах, сколько страсти в движениях и взглядах! Трудно было удержаться — ноги сами просились в пляс.

За нашим столиком сидели Людмила Касаткина и Николай

гвоздь таборного спектакля в «Ромэне». Эффект от вколачивания этого гвоздя получился потрясающий. И уже подходили к гостю знакомые и незнакомые, уже звучало столь привычное: «К нам приехал наш любимый...» и плыла на серебряном подносе полная хрустальная рюмка, а неизвестно откуда появившийся хор настойчиво требовал, нет, скорее рекомендовал по старой цыганской традиции: «Пей до дна, пей до дна!»

Высоцкий улыбался как-то неловко и смущенно и казался каким-то маленьким, почти подростком, очутившись вдруг в компании взрослых людей.

— Простите меня, друзья дорогие, — сказал он, усмирив бурю восторга «слабым манием руки». — Я к вам ненадолго. А потому не будем тратить время попусту.

И тут же невеста откуда появилась гитара. Не его, цыганская. Он взял ее бережно, как женщину. Посмотрел, тронул струны. Аккорд упал в звонкую тишину табора...

Магическое обаяние этого человека, его власть над залом были поразительны. Впрочем, это суждение я записал после. А тогда, не отрывая глаз, смотрел на него. Он взял еще один аккорд — рассеянно, раздумчиво спросил, ставя ногу на поданный кем-то стул:

— Ну что же вам спеть, мои дорогие? Может быть, вот эту? — и ловкие, сильные, нервные пальцы его побежали по струнам...

Я не стану писать о том, как он пел в тот вечер, ибо потрясение от увиденного и услышанного может оказаться банальным в пересказе, как подстрочник гениального стихотворения. Да вы и сами знаете силу и красоту этого пения, ибо в России вряд ли найдется дом, в котором не жил бы, словно эхо самой нашей жизни, нашей судьбы, его колдовской голос. Скажу только, что было истинным блаженством слушать Высоцкого в цыганском таборе посреди занесенной снегом Москвы.

...Он уехал так же неожиданно, как и появился. И сразу стало здесь пусто и одиноко, хотя табор убавился только на одного человека, чья черная распахнутая на груди рубаха была мокрой от пота — я это хорошо видел. И тогда поднялся из-за стола Николай Сличенко и, ничего не говоря, зашел есенинское «Письмо к матери». И это было продолжением только что свершившегося на наших глазах чуда. Но песня вдруг оборвалась. Сличенко, как бы извиняясь, сказал:

— Нет, после него нельзя, не надо...

А по Ленинградскому проспекту гуляла разудалая пурга. И в ее могучей полифонии, когда далеко за полночь возвращался я к себе на Сокол, слышались мне два таких разных, таких удивительных голоса. И звучали они поразительно ладно.

Алексей ПЬЯНОВ